

НИКОЛАЙ ГАРИН-
МИХАЙЛОВСКИЙ

КОГДА-ТО

Николай Георгиевич Гарин- Михайловский Когда-то

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=622095

Аннотация

«...Когда отворилась дверь и я вошел в столовую, Наталья Александровна вскрикнула и уставилась в меня своими большими черными глазами:

- Я вас не узнала... Отчего я так испугалась?
- Вы испугались меня?..»

Содержание

I	4
II	12
III	17
IV	20
V	23
VI	27
VII	30
VIII	33
IX	35
X	37
XI	39
XII	43
XIII	44
XIV	46

Николай Гарин- Михайловский Когда-то

I

...Когда отворилась дверь и я вошел в столовую, Наталья Александровна вскрикнула и уставилась в меня своими большими черными глазами:

– Я вас не узнала... Отчего я так испугалась?

– Вы испугались меня?..

Она подумала и сказала:

– Вы мне показались черным...

– Черным?..

Я думал об этой встрече и, быть может, хотел показаться ей совсем другим...

– Вам налить чаю? Крепкий? Сколько кусков сахара?..

Рассеянный, безучастный взгляд, голос...

– Я сейчас в театр иду... Ваша комната готова... Если хотите, я позову к вам мужа...

– Ему лучше?

– Все так же... Я сейчас... пойду, посмотрю...

Она встала, захватила с собой мешочек с биноклем и

ушла. Среднего роста, худенькая, стройная, в черном, с кружевами, платье... Эти кружева как будто говорят о желании нравиться, о чем-то более легком, чем равнодушный тон и серьезное без игры лицо...

А может быть, это лицо было бы совсем другим, если бы я показался ей другим?..

А что такое «я»? И почему непременно – я? Почему ей ждать меня, когда и муж есть, и всех других к ее услугам столько же, сколько... сколько красивых и молодых людей будет, например, в театре, куда она идет?..

Она вошла и сказала, что муж спит...

– Пойдемте, я покажу вам комнату... приготовленную для вас.

Комната большая, прямо из передней, а по ту сторону передней – их домашние комнаты; рядом с моей – гостиная, из гостиной – ход в столовую...

– Эту дверь, в гостиную, вы можете запереть... Впрочем, у нас никого почти не бывает, – вам будет спокойно... Это – комод, шкаф... ящики в столе запираются...

Она говорила рассеянно, очевидно не думая о том, что говорила...

– Отчего вы мне показались черным?

Что-то лукавое – в ее лице... Она уже готова улыбнуться... Но все-таки не улыбается... Она говорит с раздражением:

– Ах, как я испугалась... Заприте за мной дверь!..

Я вышел за дверь. Она была уже на площадке лестницы. Обернувшись, она посмотрела мне в глаза, покачала головой и бросила:

– Мне так не хочется идти в театр...

– Так не ходите!

Она помолчала, серьезно по-товарищески сказала «надо» и пошла. Я стоял на площадке и смотрел, как спускалась она по лестнице. Дом был новый, лестница широкая, светлая, было тепло... Ее стройная фигура опускалась по ступенькам, и я видел ее маленькую, с высоким подъемом ножку. Она чувствовала, что я смотрю, люблюсь ею, она знала это и не хотела поднимать головы. Только при последнем повороте, как будто против воли, подняла она голову и так холодно посмотрела, что я, назвав себя мысленно дураком, ушел в квартиру и запер дверь.

И только что запер, – опять звонок:

– Скажите девушке, чтобы приготовила самовар к двенадцати... Пусть купит что-нибудь к чаю...

И опять внимательный и в то же время недоумевающий взгляд. Я намеревался сейчас же приняться за чемоданы и навести кое-какой порядок в своем маленьком хозяйстве, но что-то меня удерживало: я думал о театре, и меня тянуло туда, в залитый огнями зал, где много народа, шумно, где – она... Кто она?.. Неуловимый, едва обрисовавшийся, едва коснувшийся меня призрак... И даже не коснувшийся: недоумевающий, неудовлетворенный...

Тихо... Тикают в столовой часы и сильнее подчеркивают тишину квартиры... Шаги человека в туфлях: муж!.. Дверь открывается: высокий, сгорбленный, худой, в халате... Лицо длинное, острое, острый нос, редкая клином борода. Молодой.

Глухой голос, руки большие, костлявые, с крючкообразными загнутыми ногтями...

Я смотрю на эти ногти и вижу, как будет он лежать в гробу, и высоко на груди у него будут сложены эти руки с бледно-мертвыми, большими, загнутыми книзу ногтями...

Чувствовалось что-то болевое, обиженное до смерти...

Я посмотрел на часы и сказал:

– Уже одиннадцать... Наталья Александровна просила к двенадцати самовар и что-нибудь к чаю...

– Теперь поздно: наша лавка заперта уже.

– А что купить? Я пойду в большие магазины...

Он пожевал и не спеша ответил:

– Она любит рябчики холодные, икру...

Она любит... Непременно надо рябчиков и икры! Он запирает за мной дверь, я заботливо напоминаю ему о самоваре и через две ступеньки лечу по лестнице... Неожиданно вздрагиваю: передо мной – Наталья Александровна.

– Куда вы?

Я обрадованно сообщаю о рябчиках и икре. Она устало отвечает:

– А я не досидела... Скучно...

Мы стоим друг против друга.

– Как хорошо на воздухе! – задумчиво говорит она.

Я хочу предложить ей поехать вместе за рябчиками, но не решаюсь и смотрю ей в глаза, странные, недоумевающие.

– Что вы так смотрите?

Я опускаю глаза.

– Я вас не стесню, если поеду с вами?

– Вы?.. Меня?!

В моем лице, в моем голосе столько радости, что и она оживляется...

Мы едем. Плохой извозчик... Переменили на хорошего... Летим... Мы в магазине, в булочной. Она удерживает меня от мотовства, мы весело смеемся и смотрим друг другу в глаза... Это лицо, глаза совсем не те, которые смотрели на меня, когда я впервые вошел в столовую.

Мягкая зима, нежный ветер, и пушинки снега падают на руки, лицо и ресницы. И тогда свет электрических фонарей горит, как в призме, и так ярко, рядами вырастают громадные освещенные дома набережной. Я слегка обхватил ее тонкую талию и боюсь прикоснуться сильнее. Ощущений самых тонких, самых неуловимых – миллион, но слов нет, и говорить не о чем... О чем думает эта головка, прячущая лицо за муфтой, и какое лицо за этой муфтой?.. Я стараюсь вспомнить это лицо: я совершенно забыл его, не помню; около меня какой-то чужой человек, которого я не знаю, который меня не знает, но которого почему-то я хочу, заставляю

себя знать. Зачем?.. Для того, чтобы вышла из всего этого какая-нибудь пошлость. Сохрани боже...

– Едем домой.

Едем, моя дорогая, и я убью самого себя, если когда-нибудь дурное придет мне в голову. И теперь мне ясно, кто она. Страдающая, с разбитой уже жизнью, когда и жить, собственно, не начинала.

А там тот, умирающий, с своим раком или чем-то в этом роде в желудке.

Тяжелая драма, и кто знает, кому из них тяжелее?

И, как будто слушая мои мысли, она вздохнула и на мгновение прижалась ко мне. И от этого движения сердце сразу остановилось и дрожь пробежала по всему телу. Ах, как хотелось знать, что чувствует она в это мгновение, понимает ли, или, вернее, действительно воспринимает ли мои мысли, чувства, говорит ли со мной, пока мы так едем, молчаливые и напряженные? А если бы вместо пустых слов сказать вдруг, что думаешь? И если бы вдруг все люди заговорили и языком, и глазами, и всем существом своим заговорили бы одно, только правду: что случилось бы с ними, с миром, со всей нашей жизнью? Что-то другое, совсем другое... Лучшее или худшее? Лучшее уже потому, что оно неведомое, новое, от которого захватывает дыхание и кажется, что растут крылья.

Стой!

Мы приехали.

Знакомая уже лестница, тепло, свет, запах новой стройки.

Ее маленькое ухо, то, которое с моей стороны, в огне и кажется прозрачным. Снежинки тают на волосах и горят, как бриллианты. Она иногда поворачивается и смотрит на меня, и свежий румянец оттеняет ярче и белизну лица и блеск черных больших глаз.

– Порядочно натратили? – спрашивает она, нажимая звонок.

– О, это из тех денег, которые для этого и предназначены.

– И много предназначено?

– Дядя подарил мне билет в тысячу рублей, и он весь будет так истрачен.

– Ведь вы сразу всё истратите. Лучше отдайте мне и я буду давать вам по частям.

– С наслаждением.

И я, опустив пакеты, хотел достать билет.

Она остановила меня и сказала:

– Потом.

Она рассмеялась, и я рассмеялся.

Дверь отворил сам муж и стоял в халате, согнувшийся, с открытым ртом. В зеркале напротив отражались мы все: он, она и я.

Контраст большой: там смерть, здесь жизнь.

– Если бы я его не удержала, он купил бы весь магазин...

Ему дядя подарил тысячу рублей, и я их беру у него под свою опеку.

– Так, так, – не то улыбаясь, не то показывая зубы говорил

муж, пятясь и кутаясь в свой халат.

В столовой на чистой скатерти уютно шумел горячий самовар, стоял чистый чайный прибор и Наталья Александровна, заваривая чай, говорила, что с удовольствием напьется чаю.

Я развязывал пакеты, а муж сидел, стучал ногтями о стол и с полуоткрытым ртом, с любопытством следил за содержимым в пакетах.

Потом стали пить чай и есть.

Наталья Александровна опять ушла в свой мир, рассеянно прихлебывала из чашки и почти ничего не ела.

Муж ел много, с аппетитом, и икру, и рябчики, и сыр, и фрукты, и пирожные. Ел руками и на замечание жены, что ему вредно, отвечал рассеянно:

– Ничего, матушка.

II

Дни пошли за днями. Я свой последний год ходил в университет, ездил с Натальей Александровной в театр, катался с ней по островам. Она до безумия любила быструю езду, любила острова.

– Боже мой, как прекрасны они весной, – говорила она, когда мчались мы с ней, и с обеих сторон, наклонившись под тяжестью снега, стояли высокие ели, а там, в просвете между ними, голубое небо сверкало, и мерзлый снег хрустел, и снежная пыль осыпала нас, – как чудны они весной, когда распускаются береза и душистый тополь.

В общем, впрочем, говорила она редко. Обыкновенно же, точно просыпаясь, бросала несколько слов и опять погружалась в свои мысли или чувства и ощущения.

Я был говорливее и уже успел рассказать про себя все, что знал.

Она молчала, слушала и думала.

Мы не сговаривались, но оба мужу не говорили ничего о наших поездках.

Она только как-то бросила мимоходом:

– Мы ничем не связаны друг с другом.

Я подумал бы что-нибудь, если бы это не было сказано таким равнодушным и безучастным тоном. Да и вообще я ни о чем не думал, кроме как о том, чтобы она не заподозрила

во мне каких-нибудь грязных поползновений.

Даже надевая ей на ноги калоши – прежде я никогда не надевал никому, – я корчил такую свирепую физиономию, что она сказала однажды:

– Я не позволю вам больше надевать калоши.

– Почему?

– Вам неприятно это.

– То есть?

Я хотел говорить, но только развел руками. Не говорить же, что ее красивая нога вызывала во мне особое ощущение, такое, точно огонь вдруг разливался в жилах, спиралось дыхание, и надо было громадную силу воли, чтобы все это подавить. Как надо было подавлять охватывавший меня вдруг порыв к ней, безумное желание вдруг броситься и начать целовать ее, ее волосы, плечи, всю ее, прекрасную для меня в эти мгновения.

А иногда я ничего к ней не чувствовал, – решительно ничего, и от этого сознания испытывал удовлетворение.

Как-то вечером муж, почти не выходявший из дому, уехал к товарищу.

Мы с ней собирались было в театр, но, проводив мужа, она сказала:

– Может быть, останемся дома.

Мы остались, пили чай, разговаривали, она играла на рояле и вполголоса пела.

У нее был нежный голосок, но очень небольшой, и лучше

всего выходило, когда она тихо, как будто про себя, напевала. Тогда ее головка, античная, как головка богини, наклонялась к нотам, и глаза мягко смотрели.

А потом она сразу бросала и, вставая, говорила что-нибудь в этом роде:

– Ах, какое прелестное платье я сегодня видела.

Начиналось описание платья, она оживлялась, но когда замечала, что это мало меня интересует, говорила с упреком:

– Вас это мало интересует? А я люблю все красивое: стацию, платье, выезд, цветы... Цветы я люблю до безумия...

– Какие?

– Всякие. Больше всех чайную розу.

– Есть духи такие.

– Из духов я люблю – омелу.

– Омелу? С ветками омелы шли во Франции республиканцы, омела одна из всех растений в мире дала свой яд Локи...

– Не знаю. Кто такой Локи?

– Бог скандинавской мифологии...

Она помолчала и спросила:

– Вы все знаете?

– Я ничего не знаю, – ответил я.

– Ах, как я люблю...

Я сгорел было, но она кончила:

– ...когда ничего не знают.

А потом она, может быть, поняла, что происходило во мне, и покраснела вдруг, и на мгновение я почувствовал

острие ланцета в своем сердце.

А потом она стала напряженная, задумчивая, чужая...

Так постоянно у нас бывало.

Какой-то прерывающийся тон. Появится и оборвется. Иногда долго не обрывается. Я, с своей стороны, употреблял все усилия, чтобы не прерывать его, даже и тогда, когда был в полосе равнодушия. А она никогда не стесняла себя: как чувствовала, так и чувствовала. Вследствие этого получалось неприятное впечатление неожиданного перерыва. И не скоро потом она возвращалась к тому, чего так хотел я. Возвращалась как будто помимо своей воли. Смотрела недоумевающими, спрашивающими глазами. Я приходил в отчаяние, что не понимаю ее настроения и сам порчу его. Как будто вдруг я терял ее, и страх овладевал мной оттого, что я больше не найду ее. И, когда я терял всякую надежду, я вдруг находил ее и с ней все, чего хотел я, все, что в ней было дорогого мне, и в размерах больших, чем прежде. В такие мгновения я хотел бы целовать хоть край ее платья или упасть на колени и молиться.

И, конечно, не только ничего подобного не делал, но употреблял все усилия, чтобы она не догадалась, что происходило во мне, и, догадавшись, не лишила бы меня навсегда права быть с ней, говорить, чувствовать радость и восторг от ее присутствия.

И в то же время, если бы меня спросили или если бы я сам себя спросил, что я чувствовал, как я чувствовал ее, я

должен был бы ответить: никак.

Пока она здесь, ощущение сильное от ее лица, глаз, волос, фигурки.

Но нет ее, и я не только не мог собрать в памяти черты ее лица, но не чувствовал даже ее просто как человека.

Она улетучивалась вся без остатка.

В тот вечер, когда мужа не было дома, она вдруг спросила меня: думаю ли я, что она любит своего мужа?

– Не знаю.

– Разве можно любить больное, умирающее тело? – спросила она, прямо смотря мне в глаза. – Два года уже он так болен... Подозрительный, ревнивый.

– Он ревнивый?

– О, он другой там в своей спальне... Я больше не сплю с ним...

Я молчал.

– Я давно его не люблю... И после него уже любила...

– И теперь любите? – спросил я.

– На этот вопрос я не отвечу.

«И не надо», – подумал я и в первый раз обиделся. Конечно, я старался скрыть эту свою обиду. Тем легче это было, что она опять начала играть и играла до звонка мужа.

Он так, несчастный, тяжело дышал, так жаль его было. Наталья Александровна ушла спать, а мы с ним просидели еще очень долго. Он рассказывал о своих впечатлениях у товарища, о далеких временах своего ученья, о тюрьме.

III

На другой день, когда, по обыкновению, вместо университета я поехал на острова с Натальей Александровной, она бросила мне:

– Сегодня ночью он хотел, чтобы я опять любила его. Это ужасно...

Я все еще дулся на нее и сказал равнодушно:

– Отчего вы не разведетесь?

– Но разве можно бросить его в таком положении? Начать с того, что у него никаких средств, он страшно самолюбив... Я раз попробовала намекнуть на то, чтобы положить его в больницу, – что было...

Я думал: «Ты холодная».

Она промолчала и тихо про себя сказала:

– Я так устала.

И вдруг она положила мне голову на плечо и мне показалось, что она плачет. Я взглянул: она действительно плакала. Слезы длинные, без перерыва текли из глаз и лились по лицу, по носу, на пальто ее.

Я схватил ее за руки, приблизил свое лицо к ней и страстно заговорил:

– Наталья Александровна, я отдал бы жизнь, чтобы вы не плакали, чтоб только видеть вас счастливой, веселой...

Мне хотелось обнимать, целовать ее лицо, руки, я смотрел

рел и смотрел ей в глаза, чувствуя ее близкой, дорогой себе, такой дорогой.

– Наталья Александровна, если бы вы заболели, если бы вы умирали сто лет, я бы обожал вас еще сильнее оттого. В том-то и дело, что вы не любите его, и не оттого, что он болен, а оттого, что и раньше вы его не любили...

– Я не знаю... Он умный, блестящий, самый блестящий между всеми товарищами: я выбрала его... И я думала тогда, что люблю его...

– Но потом, когда вы полюбили другого?

Она утомленно пожала плечами:

– Я думала, что люблю этого другого...

Мое сердце забилося при этом так, точно хотело вырваться, и я замолчал.

И вдруг я вспомнил, что я сказал только что ей: ведь я в любви ей объяснялся. А она: «Я думала, что люблю этого другого»... только думала... Я замер и боялся дышать. Было жутко потому, что я чувствовал всем своим существом, что она уже моя. «А что мы будем делать с мужем и тем другим? И сколько их еще будет?» – вдруг промелькнуло в моей голове. Я знаю, что я не злой и не циничный, и растерялся, откуда во мне эта мерзость: на любовь, доверие отвечать цинизмом. Еще не владеть и уже не уважать. Я выругал себя как мог, и прогнал свои дурные мысли.

И тогда она, положив свою руку на мою, тихо сказала:

– Теперь мне так хорошо.

– Потому что вы слышали мои мысли и отвечаете на них, и я целую вашу руку.

Рука была в перчатке, и я поцеловал перчатку, а она сжала мою руку и быстро опять спрятала свою в муфту.

Она испуганно проговорила:

– Больше ничего не надо.

Не надо. Так не надо, что я согласился бы теперь очутиться в университете, с товарищами, где угодно, только не с ней. Я даже больше не думал о ней. Как будто ничего и не произошло.

И она себя так держала. Так держали мы себя и дома, приехавши. И все опять пошло так, как будто ничего и не было. Только там, где-то в тайниках души, мы знали, что было, – было, но брошено в бездну. И не я после слов «пока больше ничего не надо» полезу в эту бездну за тем, что уже было.

IV

Мы опять ездили в театр, на выставки, катались, по вечерам вместе с мужем читали громко, она играла, пела, переходя всегда резко и неожиданно от одного настроения к другому.

Так и вырисовывались для меня два человека в ней: нежная, ласковая, живое лицо; или холодная, сама не знающая, чего она ищет, чего хочет, готовая, как перчатки, менять тех, кого любит. А может быть, и просто пустая, легкомысленная и даже порочная. Но в общем, тянуло к ней, и с ее стороны чувствовалось то же. Однажды мы неожиданно встретились с ней на улице, и оба так обрадовались, в такой детский восторг пришли, так не боялись прятать то, что было у нас на душе, что пошли дальше, держась за руки.

– Сделайте мне подарок, – зайдем и купим розу.

Мы зашли в цветочный магазин, и я купил ей большую чайную розу. Я хотел красную, но она любила чайные: желтые, с нежно-розовым налетом на лепестках.

– Но мороз ее убьет, – заметил я.

– Нет, я спрячу ее на груди. – И она отошла в угол, а когда спрятала, подошла и весело сказала: – Какая она холодная!

И от мысли, что роза касается теперь ее груди, кровь хлынула мне в голову, мои глаза вспыхнули, вспыхнули и ее, и мгновение мы, без страха быть узванными друг другом,

смотрели один другому в глаза.

О, как весело возвращались мы домой.

И когда пришли, и она, уйдя к себе, возвратилась торжествующая, с свежей розой в руках, и в доказательство, что она не замерзла, протянула ее мне, я взял эту розу и с восторгом поцеловал ее. Я смотрел ей в глаза, и ее глаза вспыхнули, как будто сказали «а-а» и замерли в таком же восторге.

И ее руки протянулись ко мне, вся она, как порыв, потянулась, и я прильнул к ее свежим от холода губам, не отрывая своих глаз, я видел замерзшую бездну в ее глазах, видел то, чего не видел раньше никогда, не видел, не ощущал и не знал.

А она, освободившись, говорила, задыхаясь:

– Но разве я виновата, что люблю все прекрасное! И посмотри, посмотри, разве можно не любить тебя.

И она повернула меня к зеркалу, мы смотрели в него и смеялись там друг другу, и опять я целовал ее так, что закружилась голова, и мы сели с ней на стулья как раз в то время, когда раздались знакомые шаги ее мужа в туфлях.

Он вошел. Она спокойно поправляла прическу, а я держал в руках чайную розу и не чувствовал никакого угрызения совести.

Он остановился в дверях, окинул нас холодным взглядом и с горечью в голосе, с неприятной улыбкой сказал:

– Сколько роз...

– Одна, – сухо ответила она.

– А на щеках...

– Глупости ты говоришь – гуляй, и у тебя будут такие же.

– Не будут.

Холодом смерти пахнуло.

– О, как это все ужасно...

И, наклонившись к столу, опустив голову на руки, Наталья Александровна зарыдала, вздрагивая, а мы, – муж и я, – стояли, пока она, вскочив, не ушла к себе в спальню, а мы, в свою очередь, пустые, как с похорон, разошлись каждый в свою комнату.

Я ходил по комнате, смотрел на розу и думал:

«Мороз все-таки убил ее».

V

Мы приняли решение: мы любим, – мы жених и невеста, но до смерти этого несчастного ничего, что создавало бы фальшивое положение.

И не потому, что мы признавали какие-то его права, но потому, что не хотели унижать своего чувства.

Но сами собой отношения наши все-таки становились все ближе и ближе.

Иногда она, положив мне руки на плечи, говорила, смотря мне в глаза:

– Но это так тяжело...

– И здесь одно утешение, – отвечал я, – что, будь это иначе, было бы еще тяжелее.

Однажды она сказала:

– А если так протянется еще два-три года... Два уже прошло... И я стану старухой, которую никто больше любить не захочет...

– Я вечно буду любить.

– Ты какой-то странный. Ни с чем считаться не хочешь. Есть целая наука – физиология, в ней вечности нет. Пятьдесят лет – и конец и молодости и вечности. Как будто ты девушка, а я мужчина... Какой полный контраст между тобой и тем другим...

– Ну, и иди к нему, – тихо отстраняя ее, отвечал я.

А она осыпала меня поцелуями и говорила:

– Как я люблю тебя, когда ты так обидишься вдруг...

– Я не обижаюсь, но, может быть, контраст действительно и большой: я люблю тебя, для меня ты где-то там вверху... я стремлюсь к тебе... Унизить тебя – равносильно для меня ну... смерти... А тот, другой, может быть, искал только чувственного, и ты сама признавала непрочность и ушла.

Она тихо ответила:

– Он ушел... Я слишком легко отдалась ему, и он не дорожил мной...

Она рассмеялась:

– Теперь он поет другое...

– А ты?

– Я уже сказала ему, что люблю тебя...

– И, несмотря на это, он продолжает надеяться? Если бы когда-нибудь ты меня разлюбила?

– Ах, какой ты смешной... Какой ты еще ребенок...

– Но тебе, очевидно, доставляет удовольствие, что он еще любит тебя?

– Да, конечно. Это меня удовлетворяет, и я счастлива, что люблю тебя, и он это видит, и я могу мстить ему теперь.

– За что?

– За то, что он считал себя таким неотразимым, за то, что считал, что ни я никого, ни меня никто полюбить больше не может... А полюбил ты, полюбил чистый, как хрусталь, идеалист, человек, который готов молиться на меня. И когда?

Когда я начинала приходиться совсем в отчаяние, что навсегда стану его игрушкой. А-а... Ты представить себе не можешь, что ты для меня, как безумно я люблю тебя!

И прежде, чем я успевал удержать ее, она уже стояла предо мной на коленях, прекрасная, как мадонна, с сверкающими глазами, и губы ее, как молитву, шептали:

– И ты еще сравниваешь себя с тем, унижаешь себя...

Никакое перо не передаст ее взгляд и как любил я. Еще один такой взгляд ее я помню... И в очень необычной обстановке. Мы шли с ней под руку в театральном коридоре во время антракта. Вдруг она сжала сильно мне руку, и, когда я оглянулся на нее, она, забыв всю окружающую нас обстановку, смотрела на меня такими же восторженными глазами. Я невольно наклонился к ней и потонул в ее взгляде.

– Едем домой! Я не могу больше здесь оставаться... Хочу тебя одного видеть, любить хочу... Едем ужинать куда-нибудь...

Но я поборол себя и уговорил ее ехать ужинать домой.

Дорогой она огорченно спрашивала:

– Отчего ты такой чистый?

Такие ее вопросы всегда вызывали во мне бессознательную тревогу души.

– Наташа, моя дорогая, со всякой другой я не был бы чистым... Но заставить тебя после неосторожного шага переживать потом тяжелое неудовлетворение...

– Зачем я не такая, как ты?

Она устало положила мне голову на плечо и замолчала.

А я что-то долго и много говорил.

– Ты знаешь, – перебила она меня, – мы сегодня в театре его встретили.

– Где? Когда? Отчего ты мне его не показала?

– Но я сжала тебе руку, а ты такими глазами посмотрел на меня, что я забыла все на свете...

VI

Был день Нового года. Скучный день визитов на родине, но здесь, в столице, где у меня никаких знакомых, было еще скучнее.

Скучала и Наташа и шепнула утром:

– Часа в три уедем за город и будем там где-нибудь обедать...

Где обедать?

Я не знал, где обедают, как обедают, – знал только, что третья тысяча, вчера полученная, лежала у меня в боковом кармане.

Наш кучер назвал нам несколько ресторанов, на одном из них мы остановились и поехали.

И она и я были в очень плохом настроении и всю дорогу молчали.

Я не знал, чего она хотела, но знал хорошо, чего я не хочу, знал и чувствовал, что то, чего я не хочу, сегодня случится.

Мы вошли в отдельный кабинет, и я спросил карточку.

Она наклонилась через мое плечо и сказала:

– Помни, что сегодня наш первый Новый год, и, если ты угостишь меня шампанским, я ничего не буду иметь против.

Она отошла к окну, возвратилась и, смотря в упор, сказала:

– И я заставлю тебя пить сегодня.

Кровь прилила мне к голове, и я, как во сне, сказал:

– Ну что ж, я буду пить.

Длинный обед тянулся очень долго. Дверь поминутно отворялась и затворялась: вносили сперва закуски, потом подавали что-то. Подали шампанское, и мы бокалами осушали его.

Молча, сосредоточенно, как люди, преследующие одну цель.

Когда подали кофе и ликер, она шепнула мне:

– Пусть он уходит и больше не приходит.

Моя голова была в тумане, я повернулся к лакею и медленно, отдельно, – быстрее я не мог себя заставить говорить, – сказал:

– Теперь уходите и не приходите больше.

– Слушаю-с.

Дверь захлопнулась. Я сидел спиной к двери, но знал, что мы теперь одни. Знал, что надо что-то делать. Надо, иначе мы навсегда останемся чужими друг другу. Нечеловеческим усилием я поборол себя и поднял на нее глаза. Она смотрела на меня и, улыбнувшись протянула мне руку. Я взял ее руку и поцеловал. Что-то ни от меня, ни от нее не зависевшее руководило дальнейшим. Это «что-то» было одинаковое у нас обоих: так надо. Это «надо» заставило ее подвинуться ко мне, меня обнять ее, поцеловать, еще и еще поцеловать, пока не встретил я ее глаз. В эти глаза, как в двери, я вошел и познал наконец, куда вели эти двери...

Мы уехали из ресторана. Я был в каком-то тумане.

Мы не поехали домой. Мы долго ездили по островам, заехали в другой ресторан, взяли кабинет с камином и просидели там до двух часов ночи.

Домой приехали в три, нам отворил муж, и лицо его было такое желтое и с оскаленными зубами, такое страшное, как будто он уже из могилы пришел, чтобы приветствовать нас, новобрачных, и светить нам теперь своей желтой свечкой.

Все было так ясно, что мы, ни слова не сказав друг другу, разошлись по своим комнатам.

VII

Мы стали проводить ночи у меня в комнате. Она приходила, когда все в доме ложились спать, и уходила с первыми лучами дня. И я всегда в лихорадочном ожидании слышал, как она шла ко мне: сперва отдаленный скрип пола где-то в коридоре, потом ближе, в передней, и каждый раз после этого тишина, – это она стоит, затаив дыхание, и ждет: не выглянет ли муж? Последний скрип двери, и в мертвом просвете ночи что-то белое торопливо бросается ко мне в кровать.

Она точно пьянела.

– Ах, милый, милый, разве это не прекрасно? Зажги свечку... Будем смотреть друг на друга. Вот так...

Она лежала, облокотившись на голый локоть, и смотрела на меня. Глаза ее сияли, и вся она была вдохновенная и прекрасная.

– Сбрось же и ты это одеяло! Разве у нас не красивые тела, чтобы мы их закрывали! Ах, какой ты! Тебя испортило воспитание. Древние греки любили тело. И что может быть прекраснее их статуй? Когда мы будем во Флоренции, я тебе покажу Венеру. Но как ты слушаешь меня? Тебе неприятно?

Однажды она в такую минуту сказала:

– Ты полная противоположность с тем... другим... Ах, как это у него... Для него это был прямо культ...

– Уходи! Иди!

И прежде чем она пришла в себя, я заставил ее встать, сунул ей ее вещи в руки и выпроводил за дверь.

Она сперва растерялась, а потом впала в отчаяние ребенка и горько рыдала, умоляя меня:

– Не прогоняй, не прогоняй, прости меня, прости...

Но я был неумолим.

Я не помню, скоро ли я заснул, вероятно скоро и без мыслей. Я проснулся, когда уже было совсем светло. Положив руки на кровать и на них голову, стоя на коленях, спала Наташа. Ее волосы были распущены, в позе, усталом лице были покорность и страдание.

– Наташа, Наташа, прости меня!

Она открыла глаза, и слезы полились по ее щекам. Тихо, не двигаясь, она шептала:

– Не прогоняй.

– Наташа, милая, ты можешь меня прогнать, а я разве уйду когда-нибудь от тебя!

– Не прогоняй, – упрямо повторяла она, страстно целуя мои руки. – Ты не знаешь, как ты мне дорог, как нужен. Ты мой свет, я молюсь на тебя. Ты мой повелитель, я твоя рабыня: не прогоняй... Бей меня, режь, но не прогоняй.

– Но бог с тобой, Наташа... уже поздно, нас увидят...

– Мне все равно...

В тот день на выставке, стоя под руку со мной около одной картины, она, прижавшись ко мне, шептала:

– О, если бы ты знал, какой ты был красивый сегодня но-

чью. Из твоих глаз пламя сверкало. Я обезумела от восторга, ужаса, любви... Я только сегодня поняла, кто ты для меня, как можешь ты заставить любить себя. Да, заставить! И ты можешь и должен!

VIII

Раз ночью вдруг раздалось шлепанье туфель, и в полуоткрытую дверь из передней проникла полоска света.

В одно мгновение Наташа соскользнула и исчезла в гостиной, дверь в которую никогда не запиралась. Я же так и остался, успев только закрыть глаза, когда муж со свечкой появился в дверях.

Сердце мое сильно билось в груди. Несмотря на закрытые веки, я, казалось, видел его: страшного, с оскаленными зубами.

Мгновения казались вечностью, казалось, на мне он лежит и душит, и ужас охватывал меня, и не мог я вздохнуть, хотел крикнуть, вскочить и броситься на него.

Когда он ушел наконец, я долго лежал с широко открытыми от ужаса глазами.

На другой день мне стоило невероятных усилий заставить себя выйти к чаю.

Он посмотрел так, точно плюнул мне в лицо. Как может смотреть только умирающий.

И все мое существо задрожало от безумной жажды никогда не видеть больше этого человека.

– Я сегодня уезжаю.

Наташа, до этого мгновения равнодушная ко всему, так и остановилась с недоеденным куском. Она побледнела и

смотрела на меня растерянно и испуганно.

Потом, быстро проглотив мешавший ей кусок, она сказала, вставая:

– Я прошу вас на одну минуту.

Муж остался, а мы ушли в гостиную.

– Что это значит?

– Наташа, я больше не могу. Большого унижения я никогда не переживал. И теперь, чем дольше, тем ужаснее будет. Очевидно, что все это жжет его каленым железом, и он потерял всякое самообладание. Человек принципиальный, дошел до того... Ты посмотри на его лицо... Нет, Наташа, мы растеряем все святое... в конце концов мы кончим тем, что станем все трое одинаково ненавидеть друг друга. Нельзя, Наташа...

– Перейдем отсюда...

Мы перешли в мою комнату.

Она просила, умоляла, плакала.

– Ну, в таком случае и меня возьми с собой.

– Наташа, это невозможно.

IX

Я живу в своей новой комнате.

Пусто и скучно. С Наташей видимся редко. Ничего не переменялось, но... что-то точно растет между нами. И пусть...

Мужа перевезли в больницу для операции. Его предупредили, что операции он почти наверное не выдержит. Настоял.

Наташа наняла хорошенькую квартирку в три комнатки: столовая, кабинет и спальня.

– Я думала, – сказала она, показывая на кабинет, – что это будет твоя комната.

– Как муж?

– Его дни сочтены.

За неделю перед пасхой Наташа приехала и сообщила о смерти мужа.

– Я с похорон...

– Умер... Итак, свободны...

Она молча положила голову на мою грудь и задумалась.

Что я чувствовал? Не все ли равно теперь... Я женюсь, уеду с ней в провинцию...

– Ты переедешь ко мне или наймешь новую квартиру?

– Что скажут, Наташа? Не успели похоронить... потерпи: недолго, да и экзамены...

– Как хочешь...

Мы совсем перестали ссориться с Наташей.

– До пасхи зайдешь?

– Заниматься надо, Наташа... и... память его, так сказать,

почтим...

– Как хочешь... Может быть, к заутрени пойдём?

– Если не попаду к заутрени, то на весь первый день приду.

Х

На первый день я пришел очень рано. Наташа не ждала меня и встретила встревоженная, оживленная.

– Что это?

На столе лежали бриллиантовая брошка, браслет.

– Представь себе, – растерянно заговорила она, – я только что получила вот эти подарки от того... другого... он, знаешь, такой жалкий... как сумасшедший... прислал и умоляет принять в память прошлого вот это и это кольцо.

Она показала кольцо на мизинце.

Точно налетевшим вдруг вихрем засыпало глаза, сорвало шляпу.

– Одно из двух: или эти подарки вы принимаете и я ухожу, – или вы отсылаете их сейчас же с посыльным ему обратно, и я остаюсь.

– Но послушай...

Я взялся за шапку.

Она бросилась ко мне, схватила за руку и потащила к дивану.

Посадила и сама, сев рядом, начала говорить.

Я не слушал. Кровь бурлила, застучала в висках, в ушах. Когда она наконец кончила, я, встав, ледяным голосом спросил:

– Угодно отправить это назад?

Тогда она закричала:

– Ты злой, злой!

– Угодно отправить вещи?

– Эгоист, отвратительный эгоист, со своей химерной вечной любовью. Глупая, гнусная вечная любовь! Из-за нее можно оскорблять безнаказанно, превращать в ад настоящее и самому превратиться в конце концов в отвратительную куклу из музея с бабушкиной прописью в руках: «Что скажут». Несмотря на твою молодость, от тебя уже теперь веет такой затхлостью, как будто тебе уже двести, триста, тысячу лет.

– Может быть, довольно на сегодня, Наташа? – сказал я, опять беря шапку.

Она молчала, а я уходил.

Она вскочила и крикнула, когда я был уже в дверях:

– Но я ведь отправляю же эти вещи!

Раздражение, злость в голосе... И я ушел... Она крикнула:

– Ну, и убирайся!

XI

И вот я дома и в отвратительном расположении духа, как человек, собравшийся совершенно иначе провести свой день.

Теперь весь этот день в моем распоряжении. И прежде так бывало, но от меня зависело, как распорядиться им. А теперь... теперь... я хотел провести этот день с ней.

А она, может быть, проведет его... проведет? Неужели она способна на это?.. кто она?

Я стоял перед окном и напряженно сквозь окна смотрел на улицу. Мокрый весенний снег большими хлопьями падал на землю, и по улицам торопливо проходили облепленные снегом белые мохнатые фигуры. Вот так праздник. Хорошо бы очутиться теперь на родине: там давно тепло, солнце, там забыть всю эту серую прозу.

Нельзя забыть. Болит, и мысль напряженно работает.

Почему не пойти к ней?

Я оставляю без ответа этот вопрос. Уподобиться тому? Нет уж... Она оскорбила, она, если захочет, найдет дорогу.

Три дня: нет Наташи.

Может быть, я и не прав. Во всяком случае, неприлично, без попытки выяснить, так рвать отношения. Я нахожу выход. Я иду к Наташе в то время, когда знаю, что ее нет дома.

– Скажите Наталье Александровне, что заходил.

Ну, теперь с моей стороны сделано все: потянет ко мне – придет. Нет – значит, конец. Конец так конец.

Конец или не конец? Нет, нет, не конец. Какой конец, когда весна начинается, та весна, которую так ждала Наташа. Весна пока еще там вверху, в нежно-голубом небе, в прозрачном воздухе, в просвете розовых сумерек, когда зажигается в небе первая звезда, яркая, крупная, как капля росы. И горит она вся восторгом, вся трепещущая, как жизнь, со всеми ее переливами.

О, недаром Наташа любит так весну.

Осень на юге, весна на севере.

Могучая, стремительная в своем волшебном порыве. Так понятен он: радость жизни сильнее переживаешь, вырвавшийся из оков. И чем тяжелее были эти оковы, тем сильнее порыв этой радости.

Утро. Я растворяю окно: тепло, совсем тепло.

Легкий туман быстро тает в нежных лучах солнца. Как паутиной уже окутано дерево молодой листвой. Звонкий гул несется – как радостный крик весны. Но где же, где в этой радости жизни Наташа?

И я жадно ищу ее глазами среди идущих по улице.

Иди же, Наташа! И я не стану больше терять мгновений для вечности. Вечность слишком тяжелый молот: он дробит мгновения, а в них ты, Наташа, в этих чудных, так быстро проносящихся мгновениях.

Нет Наташи!

Две недели уже прошло, и я угрюмо стою и жду напряженно: каждый час, каждую минуту, каждую секунду. Не придет? Неужели никогда не придет? Звонок! Она?!

Она опять передо мною.

И никогда она не была такою ослепительно прекрасной. Серое платье, черная ленточка на шее. И бархат ленточки спорит с бархатом глаз.

Она протягивала мне розу: яркую, красную розу, как румянец свежего нежного лица моей Наташи. Я так ждал ее...

Восторг захватил мое дыхание, затуманил глаза... Броситься, обнять ее... начать целовать... Но боже мой, что же я делаю?! Я вырвал из ее рук розу и выбросил ее за окно. И нерешительно протянувшаяся рука ее опустилась, глаза ее смотрели в пол, она молчала, точно собираясь с силами. И так стояли мы друг перед другом, я – в ожидании своего приговора. И, как первый погребальный тихий звон, надо мной, уже мертвым, раздается ее голос:

– Ну, нет так нет: будем друзьями...

Но я ничего не слышу: я мертвый, мертвый и со всей силой смерти только одно это и сознаю. Нет еще: я сознаю, что я люблю ее, о, как безумно люблю!

Ушла?! Сперва плакала... выплакала все свои слезы и ушла.

Но догнать же, закричать, умолять, рассказать наконец все, сказать, что люблю, безумно люблю и только теперь понимаю это.

Нет голоса, нет слов, я стою без движения, с чем-то больным там внутри, умирающим, мертвым.

XII

Я не знаю, сколько времени я пробыл в таком состоянии. Как будто я много шел, нес тяжелую ношу и невыразимо устал.

Спать! И я спал часов двадцать... Мгновениями просыпался, и что-то черное опять и сразу охватывало меня, и опять я спал, и спал тяжело без снов.

Было светло, когда я опять открыл глаза.

В то окно я выбросил розу. Я открыл окно и искал глазами эту розу, но она упала на улицу и разве может сохраниться там, где прошли тысячи? Конечно, нет, это невозможно, но где же роза? Вот она на крыше подъезда, такая же красная, вся в веселых лучах солнца, в блесках росы – сверкающая, свежая!

Эту розу я достал, чтобы отнести ее к Наташе.

XIII

Ах, как долго я несу эту бедную, теперь уже темную, засохшую розу.

Третья ночь, как я брожу здесь на островах в тени деревьев, в воспоминаниях о ней, сам тень в этой белой ночи.

Мои ноги дрожат, меня тошнит, кровь прилила к больной голове, а кругом тишина ночи, неподвижная вода и зелень, и все как сон в этой белой ночи, сон наяву. И так светло, что можно читать, и ярче выступают исписанные страницы пережитого, и, пригнувшись, одиноко я читаю их.

Да, легко сказать себе: это пустыки, это ничтожно, а это велико и мудро. Жизнь сорвет наживу, и удочки мудрого останутся пустыми, а нажива пустыка приманит жертву. Ну что ж, и пусть... Пусть это будет ничтожно, как сама жизнь: моя, других...

Я, кажется, немного заснул... или сознание отлетело и возвратилось так же быстро, как быстро скользнула и скрылась в вечность эта короткая белая ночь.

Сон или наяву это было?

Мы опять были с ней вместе, как прежде, и я радостно говорил ей:

– Так, значит, все как было... Зачем же я выбросил эту розу?

А она все твердила:

– Но ведь ты любишь... любишь?

И я еще слышу ее голос.

Ах, какой сильный аромат деревьев в этой влаге утра. Роса, и в первых лучах сверкают ее капли на изумрудной зелени, и нежно и звонко пробуют голоса свои птицы.

Так тихо, спокойно.

Конечно, люблю.

XIV

Это я стою у квартиры Наташи и звоню?

И я радостно отвечаю себе: да, да, я! Как и тот, другой?
Да, да. Я едва слышу смущенную горничную:

– Пожалуйста в кабинет: барыня сейчас выйдет.

В кабинет?! Отчего опять так быстро меняется мое настроение? Как бьется сердце! Этот аромат цветов. Тот букет. Она всегда любила цветы. Она вся в этом кабинете, и все прошлое в нем. Прошлое?!

Я вижу в зеркале мое лицо. Зеркало не узнало меня. Я сам не узнал бы в нем больше себя, – когда-то властного и сильного победителя ее, ее мыслей, чувств, желаний, всего этого кабинета, для меня приготовленного, этого зеркала, которое теперь так холодно говорит мне «чужой». Чужой?! Мужские шаги по коридору... надел калоши, шум отворившейся двери. Шум этих кожаных калош там уже на каменной площадке лестницы. И несколько раз машинально, как удары молота, я повторяю: «Ушел, ушел», пока освещается предо мною вся мучительная истина.

Теперь и я могу уйти. Нет! Хотя раз я сяду за этот для меня приготовленный стол и что-нибудь напишу. Но я не могу писать. И надо скорее уходить, если я не хочу потерять сознание. И я осторожно, на носках, чтобы не скрипнул пол, торопливо прохожу в переднюю, на площадку и через две

ступеньки спускаюсь по лестнице.